

Антонина Александровна имитировала оргазм из ряда вон плохо. По окончании действия торопливо соскальзывала с меня — вялого, обессиленного, вспотевшего; неуклюже складывала вдвое свое костлявое дряблое тельце и, обняв обеими руками тощие заостренные коленки, показушно вздрагивала, изображая сладострастные оргазмические конвульсии. Затем же, думая, что я не замечаю, исподлобья боязливо поглядывала в мою сторону, оценивая в свою очередь мою реакцию на ее фальшивую страстность.

Окидывал я Антонину Александровну в такие минуты нордическим взглядом, точно Штирлиц злосчастные чемоданы радистки Кэт, смиряя невероятным усилием воли мимическую мускулатуру, и в то же время от всего своего девятнадцатилетнего сердца жалея. Да, именно жалея, и никак иначе, а заодно и рассуждая про себя о природной женской наивности и даже глупости. Ведь мне, оторванному от родного дома на целых шестьсот пятьдесят километров, к тому же безнадежно рядовому Советской Армии, вполне хватало ее куриного супчика с потрошками, жареной картошки с тщательно почищенной сельдью и сознания того, что в очередное увольнение где-то в серокаменных джунглях Строгино меня кто-то неизменно ждет. Но она ничего не знала да наверное и не хотела знать о моих «сиротских помыслах», отчего нахально продолжала и продолжала свое бездарное лицедейство.

«Черт возьми, — сокрушался я в сердцах, — был бы ты, Саня, хотя б на треть Немирович или на четверть Данченко, точно бы возопил: „не верю!“». Но моя фамилия звучала совсем по-иному и оттого я смиренно молчал.

Познакомились мы с ней, как это не пошло звучит, около элитного американского ресторана именуемого «Трен Мос» (чем

только не напищивали в те годы Комсомольский проспект). Что я там делал зябким октябрьским вечером в солдатском «стеклянном» ХБ и кирзовых сапогах, трудно вспомнить, но видимо что-то не очень хорошее. Помнится, рядом с этим заведением находилась овощная палатка, а невдалеке от нее огражденный плотной сеткой-рабицей склад с дынями и арбузами. Случалось, в основном под полночь мы — солдаты-срочники туда бессовестно наведывались. Самый мелкий и худой из нас проникал через узкий проем в закрома уроженцев Кавказа, брал пару-тройку арбузов или дынь-торпед, просовывал их в этот же проем обратно и вылезал сам.

Видимо с одним из тех самых арбузов я и подкатил к проходившей мимо женщине с огненно-рыжими, развивающимися от осенней непогоды волосами. Показалась мне она тогда довольно милой и сексапильной (мысли в то время в моей голове работали исключительно в одном направлении). Может даже и фрукт-ягоду презентовал, не столь важно, но что и говорить, закрутилось, завертелось... Позвонил, приехал. А потом, как говорится, зачастил. И частота моя, стоит заметить, Антонине Александровне пришлось по душе и по телу — одновременно.

Проживала она одна-одинешенька в однокомнатной квартире в том самом Строгино. Работала всю свою жизнь в местной поликлинике лаборантом, то бишь брала у пациентов из верхних конечностей кровь. По словам Антонины Александровны, мужа у нее никогда не было, да и детей за всю свою тридцатисемилетнюю жизнь бедняжка не нажила.

— Ты мой сын! — смеялась она, когда выпивала иной раз со мной бокал вина.

— А что, я готов, мама, — усмеялся я, и нежно целовал «старушку» в мочку уха.

И все было бы безоблачно и гладко, кабы как-то раз, оставшись один в ее квартире, я случайно не наткнулся на аккуратно сложенные вместе с другими фотографиями некие снимки УЗИ. Тогда, в конце восьмидесятых этот метод исследования был не слишком известен и популярен — он только-только входил

в обиход. Но моя огневолосяя возлюбленная трудилась в медучреждение и, соответственно, имела льготный доступ к эксклюзивному виду диагностики. На тех, с позволения сказать, фотографиях был изображен довольно крупный, как говорят медики плод, а на обратной стороне было даже размашисто начертано – «мал».

Мне молодому и не замороченному тогда были мало знакомы такие понятия, как такт, и потому по приходу Антонины Александровны я, долго не церемонясь, спросил, что да как и кто такой этот самый «мал»? В ответ она резко побледнела, затем, видимо от волнения прикурила сигаретный фильтр и жадными затяжками, как следует раскурив его, едва слышно ответила:

– Ну да, было дело. Не вышло... Да и не выйдет теперь никогда... Каждому своё...

С другой стороны была Леночка Виноградова... Есть такие особы, которые с малолетства ищут на свою пятую точку неизлечимых впечатлений. И хотя жизнь всем своим грубым естеством кричит таким: «Окститесь, шагните дорогой правильной!» Нет дела им до этого истошного крика и семят они дорогой иной – сомнительной – ухабистой и пыльной, набивая по пути лиловые гематомы и шишки, которые впоследствии делаясь более темными и округлыми, становятся частью их внешней и внутренней сущности.

Околачивалась Леночка Виноградова около Хамовнических казарм настойчиво и рьяно. Лыбилась всякому спускающемуся со ступенек КПП солдату напомаженным буратинистым ртом; любопытно заглядывала большими раскосыми глазищами в окошко хлеборезки, тому, что бесстыдно выходило на Комсомольский проспект. С упорством эструсовой суки выискивала жаждущих ее молодого, ладно скроенного тела.

Поначалу Леночку интересовали бравые парни из автозвода, те, что с засаленной фуражкой на заросшем затылке и мутной, нечищенной аж со дня военной присяги бляхой в паху. Да и как не интересоваться восемнадцатилетней особе обладате-

лями (пускай и временными) больших и малых чудес советского автопрома, к тому же имеющих чаще чем другие бойцы выход, вернее выезд в город, а заодно возможность левого приработка.

Чуть позже перед ее манящим взглядом на первый план вышли парни из роты охраны — высокие, стройные, с белоснежными подворотничками на ПШ и ХБ; с безукоризненно наглаженными до остроты опасной бритвы стрелками на парадных бриджах; в поблескивающих во всякую погоду хромовых сапогах; гладко выбритые и аккуратно подстриженные «остоженским цирюльником» «на нет». Но те и другие чем-то все же отталкивали ее — не по годам требовательную и щепетильную, может... (она частенько употребляла подобную формулировку) интеллектуальный уровень не устраивал (ведь кто на этой земле знал в ту пору духовные запросы Леночки Виноградовой?). Тем не менее, скорее всего от этих, обделенных девичьим вниманием ребяташек она и узнала о существовании оркестрового взвода в песочно-желтых стенах Хамовнических казарм. И как было не заметить? Ведь в оркестре добрая половина солдат значилась москвичами (а значит общение предстояло, вроде как на равных), а вторая половина, хотя и состояла из иногородних, ничем не уступала первой: будь то профессиональный уровень, или та, присущая столичным мальчикам выпячивающееся самодостаточность, символ которой золоченой лирой блистал на алых лычках выходного кителя. Всё это, а иначе говоря — статус музыканта, помноженный на голубоватый налёт «ботаничности» манил Леночку всей своей дизно-бемольной туманностью, заставляя ее маленькое глупенькое сердечко стучать громче и быстрее.

Ясное дело, была у нее и подружка — менее смазливая, правда (как и полагается в подобных случаях, дабы подчеркнуть разницу и качественное превосходство), но такая же юная и инфантильная. Вдвоем, как я понимаю, им было куда легче и эффективнее добиваться своих амурно-милитаристических целей. Вскоре выклянчили подруги у дежурных по КПП заветный номер телефона и всякий пятничный или субботний вечер, благоразумно

дождавшись ухода начальства, сладкоголосо терзали из ближайшей телефонной будки очередного дневального по оркестру.

В итоге «оприходовали» мы их с моим сопризывником в нашей, так называемой нотной библиотеке, подкладывая под разные части тела залетных пигалиц, когда Шопена, когда Мендельсона, а когда и самого Людвига вана Бетховена. И выдержал ведь «ван», как выдержали и все вышеперечисленные классики мировой музыки. Выстоял, как ни странно и мой сослуживец — честь ему и хвала. А вот я — нет! Запал, повелся, как последний лох, вернее, «дух», причем «дух без стажа», если читатель знает, конечно, что это такое.

Проживала Леночка Виноградова вдвоем со смертельно больной бабушкой в двухкомнатной квартире в Кузьминках. Доучивалась по мере своих скромных умственных способностей в кулинарном училище, в остальном же вела себя так, как ей хотелось. А хотелось ей многого, причем, как поется в одной доброй песне: «I want it all, and I want it now!».

Кем были и куда запропастились ее родители, было неизвестно, как самой Леночке, так и тем более мне. Наверное об этом что-то знала бабушка, но она благоразумно помалкивала, скрывая, как мне мерещилось по ночам, какую-то страшную семейную тайну. Одно могу сказать определенно, хотя эти мои догадки приобрели ясные очертания лишь спустя некоторое количество лет. Так вот, скороспелость и инфантильность, по моему мнению, одни из главных отличительных черт рода Виноградовых, бесстыдно передающихся из поколения в поколение.

Переодетый в гражданскую форму одежды и оттого чувствующий себя более чем неплохо, хотя и все ж таки несколько двояко, появлялся я у нее дома в основном ближе к полудню. Вроде как солдат — с одного бока, требующий со стороны окружающих двойной порции жалости и сострадания, но с другого, солдат, что и говорить, не совсем простой, с особыми, так сказать, привилегиями и, опять же, статусом. Леночка это чувствовала и может быть потому при встрече любезничала со мной перед насупив-

шейся бабушкой чуть больше, чем требовалось.

Запирались мы молчаливо в ее двенадцатиметровой комнате. Пили, когда чай, когда пиво и спустя некоторое время долго с серьезными физиономиями болтали о всякой ерунде, типа, чего в итоге станет больше в Москве: ресторанов «Макдональдс» или «Пицца Хат». Временами я тренькал ей на гитаре. Безобразно корчась на высоких нотах и таинственно щурясь на низких пел слёзные душераздирающие белогвардейские песни, кажущиеся теперь не к месту и не ко времени. Она покорно слушала, подперев свое милое личико почти детской ладошкой, восторгалась моим специфическим вокалом, а после, словно в благодарность, послушно садилась у окошка и показывала на что способен ее красивый рот.

Иногда нам мешала бабушка. Она тихонько, словно сама чего-то опасаясь и стыдясь, стучалась в дверь и голосом доброй волшебницы предлагала Леночке оставшуюся овсяную кашу, которую сама из-за прогрессирующей болезни хронически недоедала. Леночка недовольно прерывалась, раздраженно закатывала глаза кверху и грубоватым, неведомым мне тоном отвечала:

— Ба... да выкинь ты ее... Не люблю я...

— Ну как же можно еду выкидывать!.. (а это было время продовольственных талонов и норм), — сокрушалась бабушка, удовлетворившись не столько смыслом сказанного, сколько самим внучкиным голосом, а после послушно шаркала к себе в комнату. Ну а мы с Леночкой продолжали и продолжали наши незатейливые эксперименты.

Вообще, не считая оргии в стенах нотной библиотеки, где обычный, классический вид совокупления главенствовал над остальными, мне вскоре начало казаться, что Леночка тогда сделала исключение. Причем, исключение вынужденное. Уж больно бодро и с каким-то патологическим рвением она каждый раз усаживалась у окошка. Для меня это выглядело, как явный «оральный отмаз», обусловленный нежеланием заниматься полноценным сексом. Помню, в какой-то момент мне стало обидно

до невозможности и я грубо высказал свою тревогу по этому поводу.

— Саш, перестань, — вполне искренне промяукала она, — боюсь я! Бабка может войти. Ты же знаешь, дверь не запирается.

В ответ я состроил кислую мину и на несколько мгновений представил, как по хозяйски прилаживаю защелку к не запирающийся двери (что я, не мужик, что ли?). Могу только догадываться, какая в действительности гримаса застыла в те секунды на моем лице, но через некоторое время она все ж таки вызвала желаемый отклик.

— О'кей! — игриво ответила Леночка, приснув на меня порцией позитива, словно колодезной водой на раскаленный утюг, — я что-нибудь обязательно придумаю.

И она придумала. Где-то уже через пару увольнений ванная комната, находившаяся в глубине квартиры, стала нашим постоянным прибежищем. Что чувствовала и фантазировала себе в такие моменты бабушка, страшно было представить. Но стоит отдать ей должное, держалась молодцом и за все время наших копошений в совмещенном санузле ни разу не подала голоса. А там бушевали невиданные миром бесстыдства. Включался на полную душ, который по нашему мнению должен был заглушить непотребные вздохи и стоны (вроде как мы стираем мою военную форму). Происходило же обратное. Скрип, стук, а иногда и грохот словно усиливались при непрекращающимся потоке воды. Нескончаемый водопад лишь умножал суету, сопряженную с теснотой и прочими неудобствами (стирка была длительно-мучительной). «Ложем любви» становились все находящиеся в уборной предметы и устройства. Была ли это стиральная машина, бак для белья, тумбочка или просто сама ванная, всё эксплуатировалось почти до полного износа, за исключением, пожалуй, ванной. Та служила нам верой и правдой, не предавая даже в самые тяжелые и ответственные мгновения. Короче говоря, бедная, бедная бабушка. До сих пор жаль покойницу.

Ну а Леночка... Леночка была чертовски хороша. Ее физика и, вообще, фактура, сочетали в себе неопровержимую юность

с какой-то врожденной женскостью. Незвизрая на свои малые года, она от мозга до костей являлась существом женского пола: пускай маленькой, инфантильной, но все-таки женского пола, словно от матери-природы знающей все тонкости общения и обращения с полом мужским. К тому же ее смуглое, невероятно стройное тело будоражило мое воображение, как в стенах квартиры, так и во вне их, доводя меня, измученного армейскими тяготами и лишениями до сладостного изнеможения, и даже после финальных аккордов, оставляющее неутолимый мужской голод. Можно ли предать ее забвению — обращенную ко мне спиной, совершенно нагую, чуть влажную от случайных капель, серебряной рыбкой поблескивающую в свете убогой лампочки и оттого еще более востребованную? В те жаркие минуты верхняя часть ее точеного туловища находилась в самой ванной, лицо безжалостно упиралось в отверстие сливного стока, а нижняя ритмично двигалась под руководством моих проворных рук, скользких то ли от воды, то ли от пота. Никогда более я не ощущал в своем тщедушном теле такого испепеляющего либидо, а в черепной коробке торжественного марша-парада опасных эмоций. Злость, жалость, чувства превосходства и униженности — все перемешивалось в моей кипящей голове (уменьшенной модели сталеплавильного цеха), сублимируясь в похоть.

— Ничего, что я тебя так? — в тот памятный раз, поддаваясь беспричинной тоске, неожиданно для самого себя спросил я.

— Да нет, что ты... — по-детски улыбнулась она и совсем не по-детски подмигнула своим раскосым оком, — даже приятно...

Собственно, так бы все и продолжалось, если бы однажды утром, находясь на службе, в телефонной трубке я не услышал отдающую февральско-ноябрьским холодом ключевую фразу этого повествования: «Я залетела!».

Кто служил в армии, тот знает, что слово «залёт» для солдата имеет особое значение и смысл. Ведь залёт, это не просто «косяк», а «косяк» за который непременно придется ответить,



причем по полной программе. В моем с Леночкой случае «косяк» был в квадрате, потому как первое — сам залёт, а то бишь беременность Леночки, второе — то что виновник случившегося, мягко выражаясь, не совсем свободный человек, третье — Леночка слишком юна, и, наконец, четвертое — на хрена нам молодым да ранним, вообще, весь этот геморрой?!

И как-то сразу после леночкиных слов Антонина Александровна стала родней и ближе. И что самое забавное — чисто по-человечески. Не на шутку испугавшись и почувствовав в лице своей великовозрастной возлюбленной потенциального сочувствующего, я, долго не раздумывая выдал все подробности назревающего катаклизма. И она выслушала, спокойно, не перебивая и не выказывая признаков возможной и ожидаемой ревности. Что и говорить, было приятно. Тогда я понял по-настоящему, что счастье это действительно, когда тебя понимают. По прошествии же нескольких недель, когда о Леночке Виноградовой рассказывать мне было особенно нечего, Антонина Александровна повела себя так, как будто приходилась мне и моей юной пассии, чуть ли не родной матерью. Ласково и нежно гладила меня по щеке, и строя рыжие бровки домиком, по-родственному приговаривала:

— Бедный мой мальчик... Не бойся, всё образуется.

Леночку же называла, соответственно, «бедной девочкой», иногда заблудшей овечкой и, то ли в шутку, то ли всерьез, находясь в какой-то отстраненной задумчивости, шептала себе под нос:

— Усыновить, что ли всех вас... глупеньких...

Дело осложнилось еще и тем, что Леночка Виноградова толком сама не знала, чего хотела. Или же лучше сказать, знала, но здравомыслящего человека ее противоречивые мысли и желания покоробили бы однозначно. Она панически боялась аборта (истинно говорят, что даже у самой бездушной твари есть совесть), и отметала разрешение проблемы таким способом напрочь. С другой стороны, при слове ребенок ее начинало трясти и выворачивать наизнанку.

— Да какая я, к черту, мать? — вопила она, стуча себя ладошками по коленкам, — мне восемнадцать лет два месяца назад исполнилось! Мне училище заканчивать надо и карьеру делать. Да и ты (имелся в виду я), какой из тебя папаша? Да и вообще, оно тебе надо?

Что касается реплики «про папашу», скорее всего она была на все сто права, но дело было даже не в этом. Мое отношение к Леночке Виноградовой было настолько несерьезным, легковесным, к тому же потребительским, что даже если бы я поставил галочку на опции «совесть» и перенастроил себя на праведный лад, вряд ли потенциальный детеныш стал бы впоследствии вызывать во мне отцовские чувства. Как мне казалось тогда да и кажется теперь, для отцовства надобно как следует созреть, а может быть даже и прозреть.

В итоге помогла Антонина Александровна.

— А вот знаешь что?! — допивая на кухне полуденный кофе, агрессивно перекинув ногу на ногу, заговорила она, — если хочешь, вернее, если ты не против, я в состоянии обставить дело так, что вы оба станете не при делах. У меня имеются кое-какие заделы, как по части роддомов, так и органов опеки и я после рождения малыша могла бы его благополучно усыновить, ну или удочерить... Смотри, кто там вылупится. Ты кого хочешь, мальчика или девочку?

— Никого! — сухо ответил я, внутри себя с трудом переваривая только что сделанное предложение, от которого нельзя не под каким предлогом отказываться. К тому же сам тон Антонины Александровны меня поразил изрядно. Так жестко, не эмоционально и отчасти цинично она никогда со мной не разговаривала.

— То-то! Правильно мыслишь. Молоток, — с удовольствием закурила она и сладко почесала длинным отполированным ногтем мизинца лодыжку, — ты же знаешь, у меня больше не может быть детей.

— Знаю! — успел выдать я, хотя по правде говоря, мне было на это плевать.

— Ну вот видишь, котёнок, — она небрежно погладила меня по затылку, словно я в действительности был кошачьего племени, — как все славно получается. Для этого, правда, понадобится твой отказ от отцовства... Хотя, не парься особо, с тобой — проще всего, ну и, разумеется, отказ от материнства нашей бедной Лолиты. Поговори с маленькой...

И я поговорил. Леночка пришла в телячий восторг от предложенного (как она беспрестанно восклицала: «Бывают же добрые люди на свете!»), что, кстати, весьма благоприятно повлияло на весь дальнейший ход беременности.

Судьба и дальше «помогала» всем нам изо всех сил. Как это не кощунственно звучит, очень своевременно, а именно на четвертом месяце беременности Леночки, отошла в мир иной бабушка, так и не решив для себя до конца: поправилась ли ее внучка на недоедаемой овсяной каше, или же расплнела сама по себе. И здесь Антонина Александровна проявила себя деловой женщиной. Гроб, крематорий, венок, ячейка и прочие похоронные прибабасы были заказаны и подготовлены благодаря ей в положенный срок. Ну а там что: схоронили, поплакали для приличия, разошлись.

Дембельнулся я, так и не увидев своего «плода» и даже не поинтересовался, что за пол вышел. Всё как-то не досуг было. Да и возникшие проблемы, мои разновозрастные возлюбленные решали вдвоем, сами. Лишь однажды, как мне сообщили позже сослуживцы, в оркестр позвонила Антонина Александровна и взяла на всякий случай адрес и телефон моих родителей.

Ну а я подался до дома. Вскоре поступил в институт. Студенческая жизнь закружила меня в вихре дьявольской гальярды, заставив забыть все эти странные армейские перипетии. По окончании института нашел нормальную, не отягощенную скрипичным ключом работу. Удачно женился и удачно развелся. Потом опять женился и опять развелся. В общем, достаточно безболезненно скоротал лучшую часть своей жизни. Ну а жизнь и не вознамеривалась приносить ничего знаменательного и даже мало-мальски стоящего. Кто знает, может сама ждала от меня

каких-то решительных действий? В итоге, несмотря на бурную и стремительную увертюру, она оказалась серой, унылой, как солдатская шинель и, главное, не сулящей никаких позитивных перспектив.

Женщины, которыми я пресытился еще в ранней юности, перестали вызывать жгучий интерес. А те, которые пресытились мной в зрелости, пугали своей предсказуемой эксцентричностью и стервозностью.

Деньги?... Хм! Я давно про себя понял, что любой финансовый достаток, большой или малый, меня в итоге начинал устраивать. Да и много ли человеку надо! Оттого, собственно, особо не парился по этому поводу.

Ну что еще? Пить, я не пил, потому как весьма болезненные по своим ощущениям последствия, вызываемые алкоголем, мне были хорошо знакомы по той же армии и в итоге порядком надоели.

По сути я ничего не ждал от своего существования и жил потому что жилось. Но тут случилось вот что...

Пришло письмо на электронный почтовый ящик от некой Нины Александровны Звягинцевой, что прямо таки позабавило, потому как, я мало кому свое «мыло» давал. Впрочем, вот письмо:

*Здравствуйте, Александр Григорьевич! Пишет Вам Ваша дочь Нина. Моя приемная мать Антонина Александровна Звягинцева два года назад умерла. Перед смертью она рассказала мне о Вас, о том, что Вы есть. Моя настоящая мать Елена Александровна Виноградова погибла в середине девяностых. Очень хочется, если Вы не против, увидится с Вами. Если согласны, напишите мне. Я обязательно приеду. Ваша дочь, Нина Звягинцева.*

*Р. С. Проживаю по тому же адресу в городе Москве, что и моя приемная мать.*

Далее шел адрес.

Мне стало внезапно не по себе. Вспомнилось детское ощущение, когда снежок попадает в область шеи и рассыпавшись, неотвратимо оказывается за пазухой. Именно это я и почувство-

вал после прочтения. Ведь послесловия, эпилога, называйте как хотите, я точно не ожидал, убежденно веря, что все мои юношеские недоразумения и их печальные последствия давно остались в прошлом. Но в ответном письме все ж таки чиркнул, что буду рад знакомству и возможному приезду. Что поделаешь, жизнь была скучна и любое событие, неважно, со знаком плюс или минус, подстегивало, пребывающую в состоянии летаргического сна волю к существованию. В этот же день, ближе к вечеру получил еще одно послание от неожиданно обнаружившейся дочери, в котором были указаны дата и время прибытия поезда. Исходя из последних цифр в моем распоряжении имелось два дня.

Снежок, конечно, растаял, но позже я почувствовал в глубине своего нутра крошечную искорку, которая с каждой минутой обнаруживалась всё более ясной и яркой, и вскоре превратилась в маленький костерок. Какими дровами этот костерок питался, сложно было определить, но горел-разгорался он с каждым часом всё ярче и увереннее. И если первый день после полученного письма прошел почти так же как и вся моя предыдущая жизнь, то утром второго дня я истерично принялся сооружать в воспаленном мозгу грандиозные планы, связанные с приездом моей дочери.

Первое что я сделал, так это снял со сберегательной книжки довольно крупную сумму денег, дабы позже, в торжественной обстановке презентовать бедному, наполовину осиротевшему чаду (пусть знает, что у нее теперь есть папа). Затем поехал на дачу, где скрупулезно и тщательно прибрался – сгреб и сжег накопившееся мусор, прополол только что взошедшую капусту и даже побелил в саду фруктовые и ягодные деревья. Ведь мало ли что, вдруг ребенок захочет на природу. Так вот, она есть, и полноценно готова к эксплуатации. Потом отправился на рынок, где купил свиной окорок, который придя домой любовно порезал на аккуратные кубики и по маминому рецепту замариновал. Приобрел у живущего по соседству беглого лезгина пару литров домашнего вина и килограмм сулугуни. Родителей предупреждать раньше времени посчитал не нужным, дабы

не волновать стариков. А вообще, целый день напролет думал о дочери. Гадал, какая же она все-таки получилась, похожа ли на меня, какой у нее характер? Любопытство раздирало. Мало того, всё неожиданно всплывшее наплатило меня неиссякаемой энергией, встряхнуло скукоженное сознание и прежде всего тем и потому, что изначально безжизненное, априори лишенное чувств и благородных порывов месиво взаимоотношений и перипетий, вдруг спустя целую вечность ожило, захлупало, заставив вяло работающий миокард вздрогнуть и затрепетать. А ведь я, именно я приложил к этому... руку. Ну, или не руку... Я, как не крути, тот самый нерадивый поваренок на пароходике жизни, инфантильно заваривший и не доваривший, а главное, не расхлебавший эту, тогда еще безвкусную, постную кашку. А ведь она дозрела, приправилась специями от самого Существования и теперь кажется аппетитной. Невольно вспомнил Антонину Александровну и Леночку, именуемой в письме Еленой Александровной... Неужели они имели место в моей жизни? Со всеми своими бесконечными рыжестями, тощастями, раскосостями, умностями и глупостями...

Ближе к вечеру тот самый костер стал полыхать вовсю, растапливая без остатка все закаменелые льдинки, да так, что вскоре слезы хлынули из меня непрерывающимися потоками. Прорыдал всю ночь, вспоминая и временами проклиная всю свою никчемную жизнь, но несмотря на это как-то уснул, и утро все же таки сжалилось надо мной, одарив новыми силами и необходимой бодростью духа. Ведь через пару часов должна была приехать моя маленькая единственная Ниночка.

Будучи еще дома, за два часа до прибытия поезда, с превеликим трудом, сопровождавшимся треском швов и болью в паху, кое-как влез в свой, оставшийся еще со времен второй женитьбы итальянский костюм цвета беж. Обулся в новые, купленные на весенней распродаже, довольно приличные чешские туфли. Оказалось, вот для чего они пылились в окружении нафталина и нюхательного табака. Хотел даже повязать галстук, но понял, что так и не научился за всю свою жизнь этой мужской премуд-

рости. Пару раз брызнул на пиджак каким-то древним, застоявшимся и настоявшимся на самом себе одеколоном с выцветшей этикеткой и таким вот душистым и воодушевленным отправился на вокзал.

Время бежало вприпрыжку. Волнение нарастало, руки потели и даже тряслись. За те считанные утренние часы, проведенные дома я незаметно для себя самого выпил чашек пять крепкого кофе и выкурил почти пачку сигарет. Уже будучи в пути, осознав, что дальше в таком оцепенении и задымлении я находиться не в силах, купил четвертушку коньяка и осушив ее на одинокой лавочке привокзального сквера, теперь уже в относительном душевном равновесии взошел на перрон.

Ожидающих московский поезд было предостаточно. Складывалось впечатление, что прибытие утреннего московского экспресса в наш забытый Богом городок на моих глазах превращается в единственно значимое событие сегодняшнего дня. Многие встречающие сжимали в ладонях разноцветные букеты, преимущественно состоящие из бледно-розовых гладиолусов; иные озабоченно озирались по сторонам и размахисто жестикулируя, громко переговаривались между собой. Под давлением всей этой, заполняющей привокзальное пространство суеты, а так же не отпускающего действия коньяка, я поддался стадному инстинкту и купил у дородной продавщицы, своими габаритами перекрывающей размеры цветочного лотка, пять темно-красных гвоздик. Вдруг так положено, подумал я с улыбкой. Затем зачем-то боязливо понюхал их и убедившись, что они не имеют живого запаха, отчего-то успокоился.

Время тикало и постепенно стрелка привокзальных часов подползала к заветной точке, но тут диспетчер — обладатель не шибко приятного, с легкой сипотцой женского контральто, объявил, что всеми ожидаемый экспресс задерживается на целых двадцать пять минут. Толпа встречающих по окончании объявления дружно выдохнула пар нетерпения и перестав суетиться, так же дружно притихла. Выдохнул и притих я. И в одно мгновение мне стало как-то все равно. Равнодушие, адресован-

ное предстоящей встрече, неизвестно откуда, а может быть переданное тем самым сиплым голоском диспетчера, невидимыми бациллами начало проникать в мое сознание и разъедать его изнутри. На кой мне всё это надо, подумал я, прикуривая сигарету у явно несовершеннолетнего парнишки. Ведь жил же я как-то до всего этого. Прекрасно жил — не тужил. Пускай серо, скучно, плевать, зато невероятно спокойно. Ни о ком не думал, не беспокоился, никого не ждал и в этой привычной бесцветной инертности частенько отыскивал мутноглазые огоньки своего тихого, персонального счастья. Я взглянул на пустующее железнодорожное полотно и зло усмехнулся. Вот сейчас придет поезд, она выйдет из вагона, натужено улыбнется, пустит слезу; может даже обнимет, облобызает папку; превозмогая себя, облобызает; чмокнет через не хочу. Потом будем помалкивать минут десять, а то и все двадцать, не зная какую бессмыслицу выбрать предметом беседы. Затем потащимся ко мне, выпьем... Рванем на дачу. Подышим озоном. Опять выпьем. И упорно будем делать вид, особенно я, что эта встреча такая необходимая, судьбоносная и неизбежная. Вспомним Антонину Александровну, Леночку. И будут они в нашем разговоре выглядеть такими правильными, взрослыми и даже мудрыми. Мертвые ведь всегда выглядят мудрее живых. Но, что самое удивительное и возмутительное, будут они таковыми выглядеть не по своей воле! А мы — не такие значимые и не такие светлые, будем обязаны их теперь помнить и чтить. А за что их чтить-то? За то, что когда-то давным-давно они по малодушию приручили к себе одного озабоченного кретина и одна из них, видимо не по-детски польщенная его вниманием, даже родила от него. Ну да, родила, а вторая вовремя подсуетилась и вырастила, дабы наполнить свою оставшуюся жизнь смыслом. Такое вот, с позволения сказать, разделение семейных обязанностей. Как же славно, черт возьми и взаимно-необременительно, не правда ли? Только я-то здесь причем? В чем моя персональная заслуга? И за что, ответьте мне люди добрые, она меня любить-то теперь собирается? За то, что я за двадцать лет ни разу не вспомнил вспомнить о ней? За это?!



Но ведь будет любить, куда денется? Отца-то!?! Как пить дать, будет. В этом же, как принято говорить, вся суть человеческая, переданная свыше — просто так любить, ни за что, вопреки всему. Как же справляться с этой чертовой любовью? Не справлюсь ведь я. Не потяну. Рассыплюсь.

Так, бубня себе под нос весь этот психопатический каламбур, я вдруг заметил, что стою уже не на перроне, а на первой ступеньке бетонной лестницы, ведущей вниз в подземный переход, а далее через него в здание самого вокзала. Бутоны гвоздик, тем временем вяло мели высокий гранитный бордюр.

Странно, но не ясно с чего я сильно обрадовался этому своему местонахождению. Сделал шаг. Вдруг неожиданно, но, казалось, где-то еще очень далеко призывно пропел гудок московского экспресса. Я сделал второй шаг, затем третий и гудок зазвучал чуть ближе, дальше — совсем рядом, точно под ухом, словно вкрадчиво говоря мне: «Догнал я тебя, мальчик!». Послышался металлический стук и скрежет колес останавливающегося поезда, шум выхлопных газов. Я машинально оглянулся на ринувшуюся к вагонам толпу людей, но ноги мои не послушались, уводя меня по ступенькам все ниже и ниже в подземелье...